

ВЗГЛЯД

ЧАСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Анатолий Найман

В конце января в посольстве Королевства Норвегии состоялся, как объявлялось в приглашении, «Вечер русской и еврейской музыки памяти Иосифа Бродского». Бродский умер 28 января 1996 г., годовщина этой даты и отмечалась. В Норвегии он не был, но на вечере присутствовали и зампосла Швеции, которую он любил, и посол Финляндии, где он выступал — Бродского чествовала Скандинавия в целом. А непосредственным поводом стал приезд в Москву Бенгта Янгфельдта и его жены Елены, с которыми он дружил и с удовольствием проводил время.

Янгфельдт, писатель и ученый, рассказывал о том, каким был и как себя вел Бродский во время своих визитов к нему в Стокгольм и совместной поездки в Хельсинки. Из его точных слов и воспроизведенных интонаций, манер и жестов возникала фигура, мало изменившаяся с конца 1950-х годов. В том, что говорилось о специфической реакции Бродского на посещение именно этих стран, для меня явственно проявлялось ленинградское прошлое.

Он не просто не хотел ехать в Финляндию, а, на непредвзятый взгляд, неадекватно нервничал. Это был 1988 г., начало перестройки, но тогда бабушка еще надвое говорила, в какую сторону все повернет. К тому же финское издательство не опубликовало два его эссе, описывающие жизнь в СССР. Это несомненно подтверждало принятую тогда финнами политику «необострения отношений» — демонстрации своей послушности. Нам с юности было известно, что Финляндия выдает советских перебежчиков, и были конкретные случаи выдачи, и все знали, что если тебе удалось перейти границу, надо как можно скорее садиться на паром в Швецию. Финская граница была ближайшей к Ленинграду, и одна из считанных границ с капстраной, и тем самым притягивала внимание тех, вроде Бродского, людей, для кого советская власть сделалаась невыносимой. Думаю, он мог попросту бояться, что Хельсинки сделает еще один шаг доброй воли по отношению к Москве и события четырехвековой давности с его арестом повторятся.

Скандинавия в те годы присутствовала в нашей жизни несколькими проявлениями. Скажем, очаровательным рассказом Колдуэлла «Полным-полно шведов». Недавним фестивалем молодежи, когда по Ленинграду ходили невиданные до тех пор представители человеческой расы в виде норвежцев ростом около двух метров, с чистой кожей, нежным румянцем и в красных пилоточках с кисточками. Но, главное, регулярными автобусами, на которых финны приезжали к нам напиваться, а наши фарцовщики встречали их на 70–80 километре Выборгского шоссе, закамуфлированные под грибников, ложились, чтобы не быть замеченными КГБ, на пол, за необходимые туристам рубли покупали плащи, шляпы, башмаки, джинсы, носки, набивали этим товаром большие, якобы грибные, корзины, километре на 60-м выскакивали и скрывались в лесу. Как ни забавна была авантюренность этих, равно и внутригородских, предприятий, она оставляла осадок все-таки чего-то уродливого. Возможно, такие воспоминания тоже сколько-то отталкивали Бродского от приближения к этому «региону».

Русской частью музыкальной программы вечера были четыре песни на стихи Цветаевой, Ахматовой, Пастернака и Мандельштама и две — на стихи Бродского. Исполнила их Елена Якубович-Янгфельдт, обладательни-

ца сильного и проникновенного голоса, положившая их на музыку. Елена — бывшая москвичка, здесь до сих пор живет ее отец, и, насколько я понимаю, уют и привычки домашнего уклада, которые она перенесла с собой в Стокгольм, содержали особую привлекательность для Бродского, напоминая о времени, когда он жил с отцом и матерью. Та же атмосфера, температура, та же, не в последнюю очередь, кухня.

Когда однажды корреспондент спросил его, почему он каждое лето приезжает в Швецию, ответ был: «Очень просто, здесь живет женщина, которая лучше всех в мире умеет засолить семгу». Но когда я поинтересовался у Елены, каков секрет засолки, она сказала, что семга была на втором месте, а на первом — котлетки. Консистенция фарша, внутрь немножко укропа, немножко петрушки и так далее. Я — как и многие читатели этой газеты — знал этот рецепт по котлетам, которые жарила моя мама, научившаяся у своей, а та у своей. Слова звучали для меня, как мелодия, которая сидит во мне с тех пор, как я помню себя.

Например, мелодия «Тум балалайки», которую Елена спела в конце вечера вместе с Хасидской Капеллой на идише. О Капелле скажу особо. Ее выступление было главным содержанием вечера. Это высококлассный хор, все участники которого имеют специальное музыкальное образование. Руководит им Александр Цалюк, выпускник Московской консерватории, обладающий и вкусом, и знанием музыки. Положение Капеллы не то чтобы совсем аховое, но на чем она держится, не очень понятно. Как, в общем, всё в нынешнем искусстве, что сопротивляется сползанию в попсу. Пой «Мурку»! — кто не поет «Мурку», тот не пьет шампанское... Я «Мурку» уважаю, но литургические песнопения несколько больше.

С одного из них Капелла и начала выступление. «Ки леках тойв» («Дело доброе дал я вам»). Имелось в виду: дело доброе дал я вам, Иосиф Александрович Бродский. Это было, так сказать, прямое обращение к персонажу, ради которого все собрались. Потом пошли «Хашем хашем» Бернстайна, и любимая Михоэлсом «Колыбельная Виглид», и «Тэн шабат вэ тэн шалом ба ир Ирушалаим». Все это пелось в его честь и в его память.

Попутно выяснилось, что посол Норвегии Ойвинд Нордслеттен некоторое время назад предоставил Капелле помещение посольства, роскошный особняк на Поварской, для репетиций. Просто из любви к этой музыке. Главная же его московская любовь — к России. Здесь, говорил он в частном разговоре у камина, сядешь на скамейку в Парке культуры, и твой сосед начинает рассказывать тебе свою жизнь. Такую, что если бы это было в Европе, надо вызывать телевидение и показывать его как героя. А здесь она такая у всех... Он подливал «аквавит», рассказывал смешные истории, читал наизусть стихи Бродского и Тютчева. Не собирался при этом ни переходить в иудаизм, ни просить российского гражданства. Просто был самим собой и отдавал дань восхищения поэту, получившему мировое — и его, посла — признание. И делал для Хасидской Капеллы то, что должны были делать МЕОЦ и Хоральная синагога.

Что из всего происходившего и в каком виде доходило до нынешнего слуха поэта, над чьей венецианской могилой нет ни креста, ни мацевы, мы не знаем. По душе ли ему, не знаем. Наше дело было помянуть его, как умеем.